

— Софья Станиславовна, вы пришли в МХАТ при Станиславском. Каким он был?

— Константин Сергеевич я узнала раньше того, как меня в тридцать первом году приняли в Художественный театр. В детстве моей подругой была Таня Богданович, дочь дублера Собинова. Его жена, Гукова, тоже в прошлом очень известная певица, трагически потерявшая голос. Благодаря им я с десяти лет имела счастье наблюдать Станиславского на репетициях в его оперной студии. Конечно, когда меня приняли в драматическую группу, видела всех "стариков", а у Константина Сергеевича просто училась. Его старшие сестра и брат — Зинаида Сергеевна Соколова и Владимир Сергеевич Алексеев — мои педагоги. Мы были как бы подопытными кроликами: Константин Сергеевич в это время выверял свою систему, давал задания сестре и брату, а мы под их руководством все делали.

Когда приходили с результатом, боялись, конечно, очень. Это легенда, что Станиславский — такой святой. Он мог быть разным — бесконечно добрым, терпеливым, ласковым, если находил в игре хоть крупицу правды. Если этой правды не было, мог быть беспощаден и к молодым, и к "основателям". Он не умел сердиться — гневался. Самым страшным словом для нас было его "Не верю!" Он не кричал, но достаточно было видеть его глаза, слышать интонацию...

Зато в жизни Константин Сергеевич был непосредственным, как четырехлетний ребенок, только не нынешний — нынешние все знают и в четыре года. Раз кто-то из "основателей" пошутил: "Константин Сергеевич, а вы ведь иногда тоже наигрываете". Он так испугался! Потом все ходил — это мне Ольга Леонардовна (Книппер-Чехова. — Т.И.) рассказывала — и спрашивал: "Где? Когда? В каком месте?" Хотя какой там наигрывает! Я, к сожалению, целиком видела только одну его роль — Крутицкого в спектакле "На всякого мудреца довольно простоты". Привозили его в театр за два с половиной часа до начала. Гримерная была разделена надвое, и в первой половине стояли диванчик, столик, чтоб Константин Сергеевич мог кого-то принять, что-то подписать. А когда он играл Крутицкого, просил, чтоб не занимали делами: входил в роль.

— Как удалось стать актрисой Художественного театра?

— Был страшный экзамен. Я ведь первый раз попыталась поступить в студию в двадцать седьмом году. Для всех своя была, все видели, как девочками на подоконнике в Онегинском зале вместе с Татьяной сживались, и дядя Миша, истопник, почти секретарь — он самый главный был — нам говорил: "Барышни, только не дышать!" Но Зинаида Сергеевна Соколова, хоть меня и помнила, никогда не слышала, как я говорю. А у меня был сильный польский акцент. Во мне польская кровь — от мамы с папой, от деда — четвертушка французской, а от прабабки — итальянской. Зинаида Сергеевна меня послушала и сказала: "Милая барышня, польский акцент очень труден, плохо поддается исправлению — не думаю, чтобы вам когда-нибудь удалось быть на русской сцене". Ну я отвела, сколько надо, — и к Богдановичам, а те отыскали для меня замечательного консультанта по речи, который дал простейшие упражнения и пообещал, что все исправится, если хватит желания и упорства. Через год я снова пришла к Зинаиде Сергеевне — и меня приняли в студию.

В конце сезона там обычно устраивали вечера-показы. Страх был — не рассказать! Мне уж на сцену выходить, и вдруг чувствую: от волнения начинает тошнить. А у двери сидел Юра Бахрушин с большой пуховкой, который нас одевал, и всех пудрил. Посмотрел и говорит: "Воды не дам!" И подтолкнул: "Пошла!" Что уж я на сцене делала, не знаю, помню только, что видела туфли сидящих в зале и по ним узнавала, кто есть кто.

А через день ко мне прибежал Володя Красюк, племянник Константина Сергеевича, который был уже во вспомогательном составе Художественного театра: "Зоя, тебя назавтра вызывает Зинаида Сергеевна!" Приехала я к двенадцати, как было назначено: у нас точным считался приход за десять минут до срока, все остальное — опоздание. Зинаида Сергеевна

Софья ПИЛЯВСКАЯ:

...Я СВОЕ ОТБОЯЛАСЬ В ТРИДЦАТЬ СЕДЬМОМ

была очень сурова и объявила, что предстоит пойти к Константину Сергеевичу. Ну тут уж я совсем развалилась, в панике спустилась вниз. Читала Станиславскому минут сорок, он сидел мрачный за круглым столом. В заключение услышала от Константина Сергеевича нечто вроде "Ну-ну!" и ушла. Еще через день под окном опять появился бедный Володя: "Завтра к часу на малую сцену!" Как водится, бессонная ночь, мытье головы, потом долгое ожидание своей очереди... Когда же попала наконец на эту Голгофу, увидела два ряда кресел. В первом — все "старички", кроме Владимира Ивановича (Немирович-Данченко. — Т.И.) и Константина Сергеевича, а дальше — Вторая студия. Стояла тишина, потом быстро вошел Василий Григорьевич Сахновский и потряс меня фразой, которую запомнила на всю жизнь: "Благоволите сказать, что вы нам покажете". Дальше все было как в тумане. За ответом назначили прийти на следующий день в контору. Там и узнала, что принята в Художественный театр.

— Какой период жизни МХАТа на вашей памяти был самым счастливым и какой — самым тяжелым?

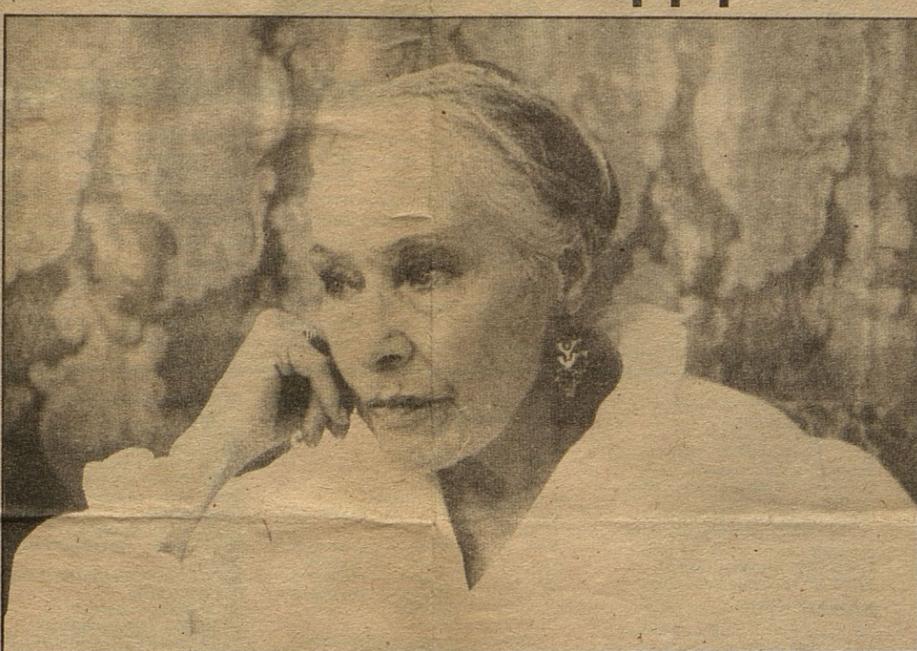
— Для меня все были счастливые, если в это счастье не врывались личные беды. Я же с тридцать седьмого года была дочерью "врага народа". Всех отцовских должностей толком и не знаю. В революцию маленькая была, мне и в лоб все это не влетало. Слышала, как стреляла "Аврора", да мне что — меня в подвал увели. Но судя по тому, что отец приезжал сперва на паре лошадей, в тарантасе, а потом — на автомобиле, который я впервые в жизни увидела, положение его, очевидно, было высокоско. Не то нарком юстиции, не то зам... А последняя его должность — глава коллегии Верховного суда Союза по гражданским делам. Человек он был принципиальный, многие дела просил на пересмотр, так что сами понимаете...

В это тревожное время первым из близких нам людей пострадал Абель Софронович Енукидзе, секретарь ВЦИК, много доброго сделавший для артистов Художественного театра. Наша семья с ним была знакома давно. Я при нем и родилась — в Сибири, куда сослан был отец, в девяносто восьмом году. Енукидзе из тюрьмы в субботу после проверки отпустили к нам до понедельника — и он приходил, отмахивая тридцать верст, ночевал в отдельной комнатке. Он замечательный

был человек, поэтому характером отличался трудным. В Художественный театр он был принят в двадцать седьмом году, выдержал очень большой конкурс. Много снимался в кино. Но из-за меня судьба у него была тяжелой, хоть мы и не расписывались до сорок девятого года. Мучили его немилосердно, требовали отречения от меня, вступления в партию, регулярно вызывали в страшные эти места, где я тряслась под дверями или во дворе: то ли выпустят, то ли увезут... Но все равно я с ним очень счастлива была. Разве что ненавидела дачу, которую муж затеял строить: из-за нее одиннадцать лет ходила в одной шубе. Но тогда в одежде главное было — чтоб тихо, скромно, чисто. Я с юности к этому привыкла, когда носила юбку из папиных брюк да две блузки — бумазейную и полотняную, которые после

сердечник, поэтому характером отличался трудным. В Художественный театр он был принят в двадцать седьмом году, выдержал очень большой конкурс. Много снимался в кино. Но из-за меня судьба у него была тяжелой, хоть мы и не расписывались до сорок девятого года. Мучили его немилосердно, требовали отречения от меня, вступления в партию, регулярно вызывали в страшные эти места, где я тряслась под дверями или во дворе: то ли выпустят, то ли увезут... Но все равно я с ним очень счастлива была. Разве что ненавидела дачу, которую муж затеял строить: из-за нее одиннадцать лет ходила в одной шубе. Но тогда в одежде главное было — чтоб тихо, скромно, чисто. Я с юности к этому привыкла, когда носила юбку из папиных брюк да две блузки — бумазейную и полотняную, которые после

Куранты. — 1995. — 12 авг. — с. 12.



держал: "Да перестань ты с ними здороваться!" А что отца расстреляли, я уж потом узнала — тогда ведь разве кто что говорил?

А меня спас Станиславский. У нас же театр — академический, в нем правительство бывало, Сталин на "Дни Турбиных" раз девять приходил. "Горячее сердце" любил, "Фигаро". Но это ничего не значило. Вот я — пример. Когда узнала об аресте отца, сразу пришла к нашему "красному" директору — его тоже потом расстреляли — и он шепотом сказал: "Все, что могу для вас сделать, — пишите заявление об уходе по собственному желанию". Я с благодарностью в ответ: "Продуктите". Дни шли, меня вызывали на репетиции, не выгоняли. Я ничего не могла понять, пока в один прекрасный день секретарь Станиславского не загнала меня в какой-то угол: "Знаете, кто вас спас? Константин Сергеевич!" Оказывается, ему обязаны были давать на прочтение и подписание бумаги. И он увидел мое жалкое заявление: "А почему?" Ему популярно объяснила, что я — дочь "врага народа". А Константин Сергеевич: "Это я понимаю. А она-то что делала?" И уж это никто ему объяснить не взялся. Станиславский порвал мое заявление — и больше никто к нему с этим не подходил. А не случись этого — была бы я в ГУЛАГе.

— Ваш муж, Николай Иванович Дорохин, был известным мхатовским актером, вы — тоже, и вдобавок — красавица. Как сосуществовали?

— Я любила его очень. Муж был наследственный

ромную разницу лет, очень любила. И с тех пор до ее последнего дыхания я с ней была. Она мне стала бесконечно родным человеком. Мы и в Гурзуф вместе ездили, и в Ялту, жили там у Марьи Павловны (сестра Чехова. — Т.И.). Ольга Леонардовна меня буквально спасала и после смерти мужа, и после смерти матери, когда я осталась совсем одна.

— Значит, к мужу любовь на всю жизнь оказалась?

— Слишком много он из-за меня несчастий получил, и его ранняя смерть — это наполовину вина моей биографии. Вот вы говорите "любовь на всю жизнь". Но ведь еще и долг чести надо соблюсти. Первый-то инфаркт у мужа был в тридцать три года, когда вызывали в инстанцию и грозилась убирать, если не станет осведомителем, приказывали отказаться от меня. Он все выдержал, но сердцу-то это не помогло. Умер он внезапно: пришли встречать Новый год к Ольге Леонардовне — уже пятьдесят четвертый. Когда вошла в переднюю, поняла, что у мужа приступ, сунула пальто в рот таблетку, он снял пальто, упал — и все. И если б не друзья, не "старички", которые меня тогда поддержали...

— Кто был в числе ваших самых близких друзей?

— Первый "мхатовский" дом, в который я попала, был качаловский. Наше знакомство с Василием Ивановичем состоялось на Николиной горе. Помню, сидел он на груди досок, из которых строил дачу: тогда ведь никому ничего не давали, все — сами. Представил меня его сын, Вадим Шверу-

бывчик, с которым мы подружились. Грибов очень близкий мне друг был, да и многие из второго поколения Художественного театра. Конечно, Николай Хмелев, конечно, Иван Михайлович Москвин. Правда, у Москвина в доме я была один раз только: когда он был с Аллой Константиновной (Тарасова. — Т.И.), "старички" его не звали к себе, а потом, когда остался один, он всегда бывал у Ольги Леонардовны. Когда случилась беда с отцом, нам с мамой нигде после прописки паспорта не возвращали, так за ними ездила Иван Михайлович. Что уж он там делал, не знаю, но документы ему отдал. Ну а величайшее мое счастье — знакомство с Ольгой Леонардовной. Ввел меня к ней в дом во время войны ее большой друг художник Владимир Дмитриев, которого она, несмотря на от-

— Конечно, сама. И даже без дневников: свойство старости — великолепно помнить то, что было давным-давно. Например, какое выражение лица было у Авеля Софроновича за завтраком в Красноярске. А вот с тем, что было вчера, хуже. Писала я около четырех лет. Хотя сначала братья за книгу не хотела: знаю очень много мемуаров, где старухи только и рассказывают, как все из-за них вешались, стрелялись да еще все оказываются любимыми ученицами Станиславского. Поэтому эпиграфом к книге взяла слова Булгакова: "Писать надо то, что видишь. Чего не видишь, писать не следует".

Но из одного издательства рукопись забрала, когда начали интересоваться, почему тот период, а не этот, да почему так много о Булгакове... И разрешила издать книгу

ГИТИСу, хотя пришлось изъять два листа и тираж оказался крошечным — тысяча экземпляров: они же бедные! Сейчас, правда, друзья познакомили с каким-то новым боссом, который книгой заинтересовался, вроде бы готов издать целиком.

— Вас называют живой совестью театра. Ощущаете себя таковой?

— Да ну что вы! Просто сейчас другая атмосфера. Какая совесть? Все тогда такие были, как я. Но никакой там схимы, "монастырей": и романы были, и пилиты-ели. Безобразия не было! И потом если случалась какая-то провинность, то на следующий день человек в театре уже не служил. А сейчас другие времена — другие песни.

— Нынешнюю жизнь как воспринимаете?

— Понимаю, что должно пройти какое-то большое время — и будет хорошо. Я в этом уверена, я оптимистка. Но, естественно, этого не увижу. То, что происходит сейчас, принимаю как должное. И как иначе, если я частично помню атмосферу первой империалистической войны, страшную жизнь в гражданскую, когда я болела сыпным тифом, а мама меня кормила гнилой капустой, ошпаренной кипятком, и картофельными очистками. Так что когда мне сейчас говорят: ах, жить невозможно, я считаю это ерундой. Плохо тем, кто одинок и не может двигаться. Если бы я с моей ногой оказалась брошена, пропала бы даже при деньгах: пойти-то никуда не могу. Из подъезда в машину, из машины в подъезд — вот мой путь.

— Что помогает держаться?

— Характер. Хотя он у меня не ангельский: бываю резкой, не боюсь говорить правду. Но терпяти. Я тридцать четыре года преподавала в Школе-студии МХАТ. И есть дорогие мои бывшие ученики, которые надо не надо в мой день рождения: в день именин приходят: Слава Невинный, оба Лазаревых, Покровская, Альберт Филозов, Фролов, Миллиотти... Но и им могу выговорить, если что. А когда мне говорят: "Как вы не боитесь?", отвечаю: "А я отбоялась с тридцать седьмого года!"

— Говорят, жизнь учит. Чем вы главному научились вы?

— Бескомпромиссности.

Беседу вел Татьяна ИСКАНЦЕВА
Фото Игоря АЛЕКСАНДРОВА